

\*\*\*

Я люблю тебя так, словно я умерла,  
то есть будто смотрю на тебя с того света,  
где нам каждая жилочка будет мила,  
где любовь так полна, что не надо ответа.

Мне не нужно уже от тебя ничего...  
Все земные сужденья о счастье лживы,  
ибо счастье — оно не от мира сего.  
И тем более странно, что мы ещё живы...

## Ахматова в Фонтанном Доме

Дворца и коммуналки помесь —  
Фонтанный Дом

(и нет печальнее, чем повесть  
о доме том!):

так вот откуда этот царский —  
до гроба! —

вид.

Здесь быт кромешный,  
пролетарский,  
но что ей быт?

И что ей время за стеною  
её дворца:

не страшно в нём с ТАКОЙ страной  
быть до конца.

И не к мужчинам возвращаться —  
там счастья нет.

Одно лишь есть на свете счастье —  
в окошке свет.

Придёт Параша Жемчугова,  
родная тень,  
и будет день, и будет слово,  
и снова день.

И улыбаться перестанешь,  
и мука — сын,  
и много всяческих пристанищ,  
а дом — один.

И даже из того предела  
лишь дома жаль.

И повторяет контур тела  
на кресле шаль.

У, Москва, калита татарская:  
и послушлива, да хитра,  
сучий хвост, борода боярская,  
сваха, пьяненькая с утра.  
Полуцарская — полуханская,  
полугород — полусело,  
разношерстная моя, хамская:  
зла, как зверь, да красна зело.

Мать родная, подруга ситная,  
долгорукая, что твой князь,  
как пиявица ненасытная:  
хрясь! — и Новгород сломлен — хрясь! —  
всё её — от Курил до Вильнюса —  
эк, разъела себе бока! —  
то-то Питер пред ней подвинулся:  
да уж, мать моя, широка!

Верит каждому бесу на слово —  
и не верит чужим слезам:  
Магдалина, Катюша Маслова,  
вся открытая небесам.  
И Земле. Потому — столичная,  
то есть общая, как котёл.  
Моя бедная, моя личная,  
мой роддом, мой дурдом, мой стол.

...Богоданная, как зарница,  
рукотворная, как звезда,  
дорогая моя столица,  
золотая моя орда.

# Сыну

Я помню: август, девяносто первый,  
и слово неожиданное «путч»,  
и помню путь (плохое слово «нервный»,  
неточное),  
я помню этот путь —  
в Москву на переделкинской «Газели» —  
и свой — пока невидимый — живот.  
Я помню, как в молчании глазели  
в окно все те, кто ехал.  
Весь народ.  
И как навстречу танки шли по Минке,  
и это всё была моя страна —  
все катафалки, все её поминки,  
и вечный бунт, и вечная война.  
И помню, что подумала тогда я,  
хотя прошли не годы, а года, —  
беременная, злая, молодая, —  
и что тебе сказала я тогда:  
у нерожденных — никакого шанса  
в том месте, что зовётся вечный бой,  
а стало быть, чего уж там — решайся,  
рождайся, сын,  
прорвёмся,  
я с тобой...

\*\*\*

Сначала жаль только Татьяну,  
потому что её не любят,  
и Ленского,  
потому что его убивают.  
А потом жаль Онегина,  
потому что куда страшней,  
когда не любят и убивают не тебя, а ты.  
А потом — Ольгу,  
потому что самое страшное —  
убивать, не замечая, что убиваешь.  
А потом — опять Татьяну,  
потому что она любит того, кого убивает.  
А потом — опять Онегина,  
потому что он всё-таки жив.  
А потом жаль всё: «наше всё», —  
потому что его убили.  
А потом жаль всех нас,  
потому что мы лишние,  
потому что в России все живые лишние.

\*\*\*

Кто варит варенье в июле,  
тот жить собирается с мужем,  
уж тот не намерен, конечно,  
с любовником тайно бежать.  
Иначе зачем тратить сахар,  
и так ведь с любовником сладко,  
к тому же в доме его тесно  
и негде варенье держать.

Кто варит варенье в июле,  
тот жить собирается долго,  
во всяком уж случае зиму  
намерен пере-зимовать.

Иначе зачем ему это,  
и ведь не из чувства же долга  
он гробит короткое лето  
на то, чтобы пенки снимать.

Кто варит варенье в июле  
в чаду на расплавленной кухне,  
уж тот не уедет на Запад  
и в Штаты не купит билет,  
тот будет по мёртвым сугробам  
ползти на смородинный запах...  
Кто варит варенье в России,  
тот знает, что выхода нет.

\*\*\*

...А кота звали попросту Понтий,  
но, конечно, совсем неспроста:  
я в то лето жила не у Понта,  
а за пазухой у Христа.  
Я не знала ни счастья, ни горя —  
знала только одни лишь труды,  
и хоть рядом и не было моря,  
было соли полно и воды.  
С неба падала манка и гречка,  
сам собою слагался сюжет,  
день за днём протекал словно речка,  
у которой названия нет.  
Приезжали то Коля, то Саша,  
привозили то хлеб, то вина,  
и была моя жизнь словно чаша:  
хоть упейся — всё будет полна.  
Что и делала я: упивалась,  
так что лыка связать не могла,  
а оно вдруг взяло и связалось —  
даже крепче морского узла...

Зимой, когда страшно просто взглянуть в окно —  
не то что куда-то ехать, хороший мой,  
когда по утрам за окном до того темно...  
короче, нашей отечественной зимой,

когда я со всеми вместе иду к метро  
и в сумке бездонной моей вся война, весь мир,  
все слёзы мира, всё зло его, всё добро —  
и йогурт, а иногда кефир,

когда я штурмом, как крепость, беру вагон,  
где глупо держаться и трудно порой дышать,  
где я засыпаю стоя и вижу сон,  
где ты не ушёл и где живы отец и мать,

где все до того близки мне — со всех сторон,  
что чья-то ушанка мне лезет упорно в рот, —  
я вдруг понимаю, что я — это, в общем, он,  
прости за пафос, имея в виду народ.

И если меня не грохнули в тридцать пять,  
и если я не повесилась в сорок семь,  
то, значит, надо как-нибудь доживать  
не то, чтоб назло или на радость всем.

А просто — проехали — всё — не вернёшь билет —  
и с каждым годом светлее моя печаль,  
и смысла теперь умирать никакого нет,  
поскольку старых, их никому не жаль.

## Юрию Ряшенцеву

Если поезд ушёл, надо как-нибудь жить на вокзале:  
в туалете, в буфете, под фикусом пыльным, у касс,  
ибо нам небеса это место и век навязали,  
как вовек полагалось верхам: не спросивши у нас.

Надо ставить заплатки на платья и ставить палатки,  
разводить не руками, а кур, хризантемы, костры,  
и Писанье читать, и держать свою душу в порядке,  
и уехать хотеть за троих, то есть как три сестры.

И кругами ходить, как в тюрьме,  
по сквозному перрону, —  
и понять, и проклясть, и смириться, и всё расхотеть,  
и без зависти белой смотреть на дурёху ворону,  
что могла б и в Верону на собственных двух улететь.

И на этом участке планеты дожить до рассвета,  
и найти себе место под крышей и солнцем в виду  
раскуроченных урн, и дожить до весны и до лета,  
и слова рифмовать, и не тронуться в этом аду.

И стоять на своём, и пустить в это месиво корни,  
и врасти, а потом зацвести и налиться плодом,  
ибо поезд ушёл в небеса и свистки его горни,  
но остался вокзал, на котором написано: «Дом».



\*\*\*

Учёбой ли, в тимуровцы игрой  
охвачена, — была я всюду первой.  
Отличницей. Общественницей. Стервой.  
Меня не научили быть второй.

Остановить бы тройку на скаку,  
спросить: «Куда, родимая, несёшься?..»  
Что первенством от смерти не спасёшься,  
я знаю. Чем спасёшься — не секу.

Переборов ребяческую прыть,  
живу неспешно, то есть драматично,  
предпочитая не демократично,  
а царственно решать, куда мне плыть.

...И мне уже не страшно быть второй.  
И пятой. И десятой. И последней.  
Да может, тот бессмертней, кто бесследней,  
и тот первой, кто замыкает строй.

\*\*\*

Рай — это так недалеко...  
там пьют парное молоко,  
там суп с тушёнкою едят  
и с Дантом за полночь сидят.  
Там столько солнца и дождей,  
чтоб вечно алы были маки:  
рай — это там, где нет людей,  
а только дети и собаки.

\*\*\*

А женщине чего бояться?  
Она не царь и не народ.  
Ей Пасхи ждать и красить яйца  
и не загадывать вперёд.

Где страх уста мужчине свяжет,  
где соблазнит мужчину бес,  
там женщина придёт и скажет  
Тиберию: «Христос воскрес!»

\*\*\*

В моей бестрепетной отчизне,  
как труп, разъятой на куски,  
стихи спасли меня от жизни,  
от русской водки и тоски.

Как беженку из ближней дали,  
меня пустивши на постой,  
стихи мне отчим домом стали,  
колодцем,  
крышею,  
звездой...

Как кесарево — тем, кто в силе,  
как Богово — наоборот,  
стихи, не заменив России,  
мне дали этот свет — и тот.

## Первое чудо

Браки совершаются на дачах  
в раннем детстве.  
Дача была удивительная:  
бревенчатая,  
с резными ставнями,  
двумя крылечками  
и до того большая,  
что, когда однажды вечером  
мы все сидели на одной половине  
и пили чай из самовара,  
тоже большого и блестящего, —  
на другую половину забрели цыгане  
и унесли всё наше столовое серебро,  
а мы и не услышали.  
А сад был такой большой,  
что переходил в лес,  
мы собирали грибы, не выходя за калитку.  
Мы жили на даче с мая по октябрь: вечность.  
Мне было пять лет.  
Кончался октябрь.  
Шёл мелкий дождь.  
В саду было сумрачно.  
Я стояла на крыльце и грызла яблоко:  
янтарно-наливное и холодное до ломоты в зубах.  
Яблоками был завален весь дом.  
Дом насквозь пропах Буниным.  
Тем его томом —  
большим, с жёлтыми страницами, —  
где были «Антоновские яблоки».  
Но в конце того октября,  
на краю вечности,  
я ещё не умела назвать этот запах по имени.  
Ему было тридцать пять:  
земную жизнь пройдя до половины,  
он очутился в сумрачном саду,

то есть вошёл в дальнюю калитку  
и по тропинке направлялся к дому.  
За ним шли ещё двое.  
Но я увидела его одного.  
Он был большой и сказочно красивый:  
синие глаза, русая борода, пшеничные кудри —  
королевич.  
Я влюбилась сразу — вся:  
вместе с яблоком, которое грызла.  
Он пришёл копать колодец.  
Я чувствовала, что это ненадолго,  
что это не навечно,  
да иначе и быть не могло:  
стояли последние октябрьские дни —  
вечность кончалась.  
Но я не желала с этим мириться.  
Они копали весь день,  
а я всю ночь —  
забрасывала.  
Пятилетняя Пенелопа,  
я сводила на нет труд трёх мужиков.  
Трёх женихов.  
Нет, настоящий жених был один.  
Те, что шли за ним, были так, подобья.  
И напрасно я боялась:  
он никуда не ушёл —  
так и остался в том октябре.  
И я осталась.  
Так мы там и стоим:  
королевич и Пенелопа с яблоком в руке.  
А дедушка и бабушка,  
и рабочие с лопатами,  
и цыгане с серебром —  
все сидят в саду за большим столом,  
кричат: «Горько!» — и пьют:  
пьют вино —  
прямо из колодца.

## Вере Орловой

А на веранде ос, поди,  
Там, где халва-ирис.  
Так ли уж важно, Господи,  
Тихон или Борис.  
Сердце трепещет-мается  
пташкой в Божьей руке.  
Кто это обнимается  
на золотом крыльце?  
Там за горами синими —  
море большой любви.  
Ох, не родись красивою,  
а родилась —  
живи.  
Осень с кострами дымными,  
золота пруд пруди,  
горы арбузно-дынны —  
всё ещё впереди.  
Будет дорога санная,  
будет благая весть.  
Жизнь, мой хороший, самая  
длинная в мире вещь.

\*\*\*

Уходишь — так уходи.  
И не жалея меня.  
Дел ещё — пруд пруди:  
остановить коня...  
Душу ты мне не рви,  
да ещё в такую жару!  
Я не умру от любви.  
я вообще не умру.

\*\*\*

У меня, как у всех, нынче есть свой email,  
Нынче есть, как у каждой собаки, мобила.  
Но кто письма писал, тот теперь онемел,  
И ушёл, кто звонил и кого я любила.

И уходит день за день земля из-под ног,  
мои дети уходят — свои и чужие.  
Только вскрикнешь по-бабьи:

«Куда ты, сынок?..»

А они всё идут — всё такие большие.

Даже буквы срываются нынче с листа  
И летят, словно клин, а потом —

словно точка...

Я стою на ветру, я совсем сирота,  
одиночка ли мать, капитанская ль дочка,

хоть горшком назови, хоть совком —

не боюсь:

я как мёртвый, который не ведает сраму.  
...А ночами мне снится Советский Союз,  
тот,

где мама моя моет вечную раму.

\*\*\*

Была любовь у нас как море,  
а после — началась война,  
и слишком много было горя,  
и слишком я была одна.  
И жизнь короткою казалась,  
и старость снилась мне во сне:  
к себе сильнее стала жалость,  
чем к тем что гибли на войне.  
И было ждать невыносимо  
(хоть с детства знала «Жди меня»),  
казалось, жизнь проходит мимо,  
и мало ночи, мало дня...  
Не потому что я плохая  
(ну извини — не дождалась!),  
а потому что жизнь такая —  
любовь и кровь,  
война и грязь.  
... Ты из такой вернулся дали,  
ты видел смерть,  
ты видел ад.  
И как звенят твои медали.  
Уходишь —  
а они звенят.

\*\*\*

Уметь довольствоваться малым,  
счастливым быть в себе самом,  
не шляться по блестящим залам,  
высоким не блистать умом,  
служить бы делу, а не лицам,  
служить Творцу, а не лицу,  
хорькам, лисицам и куницам  
не дать приблизиться к лицу,  
и приходить ко всем с приветом,

и расставаться не скорбя,  
не быть для всех ты можешь Фетом,  
но Фетом быть внутри себя.  
Поэтом может быть не всякий —  
всего один,  
почти никто:  
мой первый друг,  
мой друг Акакий,  
отдай шинель,  
бери пальто.

\*\*\*

Учусь у них — у дуба, у берёзы,  
а этим летом и ещё у лип.  
И так бы кстати оказались слёзы:  
с утра до ночи течь они могли б!  
Стоит —  
по-украински —  
месяц липень,  
с начала лета нет сухого дня.  
Вот и опять такой сегодня ливень —  
он всю работу сделал за меня.  
Цветёт пион, краснеет земляника,  
и у меня есть над словами власть.  
И душераздирающего крика  
не будет.  
Всё.  
Душа разорвалась.